

◆ ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА ◆

БОРИС
ПАСТЕРНАК



Доктор Живаго



МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
П19

Дизайн и оформление серии «КиС (Классическая
и Современная литература)» *Николая Ткача*

Оформление серии «Всемирная литература (с картинкой)»
Натальи Ярусовой

Во внешнем и внутреннем оформлении книги
использованы работы художника *Леонида Пастернака*

Пастернак, Борис Леонидович.
П19 Доктор Живаго : роман / Борис Пастернак. — Москва :
Эксмо, 2025. — 624 с.

ISBN 978-5-04-173998-0 (КиС (Классическая и Современная
литература))

ISBN 978-5-04-122100-3 (Всемирная литература (с картинкой))

Как обещало, не обманывая, проникло солнце утром рано,
косою полосой шафрановою от занавеси до дивана...

Самые лучшие, самые сокровенные стихи Б. Пастернак вло-
жил в уста своего любимого героя Юрия Живаго. Этот роман —
о любви, о России, о русской природе, о русской интеллигенции...
Этот роман — обо всей нашей жизни. И он удивительно созвучен
сегодняшнему дню.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-173998-0
(КиС (Классическая и Современная
литература))
ISBN 978-5-04-122100-3
(Всемирная литература (с картинкой))

© Пастернак Б.Л., наследники, 2025
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2025

И ДЫШАТ ПОЧВА И СУДЬБА

Спустя два года после завершения романа «Доктор Живаго» Борис Пастернак писал:

«Я думаю, несмотря на привычность всего того, что продолжает стоять перед нашими глазами и что мы продолжаем слышать и читать, ничего этого больше нет, это уже прошло и состоялось, огромный, неслыханных сил стоивший период закончился и миновал. Освободилось безмерно большое, покамест пустое и не занятое место для нового и еще не бывалого, для того, что будет угадано чьей-либо гениальной независимостью и свежестью, для того, что внушит и подскажет жизнь новых чисел и дней. Сейчас мукою художников будет не то, признаны ли они и признаны ли будут застаивающейся, запоздалой политической современностью или властью, но неспособность совершенно оторваться от понятий, ставших привычными, забыть навязывающиеся навыки, нарушить непрерывность. Надо понять, что все стало прошлым, что конец виденного и пережитого был уже, а не еще предстоит.

Надо отказаться от мысли, что все будет продолжать объявляться перед тем, как начинать существовать, и допустить возможность того времени, когда все опять будет двигаться и изменяться без предварительного объявления. Эта трудность есть и для меня. «Живаго» — это очень важный шаг, это большое счастье и удача, какие мне даже не снились. Но это сделано, и вместе с периодом, который эта книга выражает больше всего, написанного другими, книга эта и ее автор уходят в прошлое, и передо мною, еще живым, освобождается пространство, неиспользованность и чистоту которого надо сначала понять, а потом этим понятием наполнить».

Автору этих строк за те два года, что, по воле Божьей, ему осталось прожить на свете, не пришлось выполнить сформулированную им новую задачу. Удивительно другое —

его творчество, и в особенности «Доктор Живаго», продолжают и в новых условиях оставаться величайшим художественным свидетельством не только ушедшего в прошлое обрыва жизни и уничтожения нескольких поколений незаурядно мыслящих людей, но и верного пути освобождения от последствий этого периода господства гнета и ненависти.

Крайние проявления неограниченной свободы в наше время чем-то напоминают предвоенные годы начала века, описанные в первых главах «Доктора Живаго», но при этом мы полностью лишены той нравственной и материальной основы, которая их тогда питала и сдерживала. Огромное богатство, накопленное в России к тому времени, растрчено, разграблено и пушено по ветру. Уничтожено царство исторической необходимости и преемственности.

Духовные завоевания всегда приобретались ценой недоступных здоровой оценке трагедий и жертв. Начало истории христианства в этом смысле напрашивается в сравнение с событиями XX века. Мировая война, фарисейски развязанная государствами Европы якобы в защиту малых народностей, стала началом разрушения, поставившего человечество перед перспективой всеобщей гибели. В ходе этих лет немногим удалось остаться верными жизнеутверждающим положениям своей юности в их свободном и естественном развитии.

Таков творчески одаренный Юрий Андреевич Живаго, в силу своего таланта знающий, что «единственное, что в нашей власти, это суметь не исказить голоса жизни, звучащего в нас». Этим он не может поступиться и, не отказываясь от профессиональной врачебной, научной и литературной работы, тем не менее постепенно теряет возможность производительной, самостоятельной деятельности. Его друзья и сверстники приспособляются, изменяются и гордятся тем, что им удалось сохранить внешнюю интеллигентность и устоять. А он постепенно опускается, страдает, упрекая себя в безволии, болеет и рано умирает.

Для окружающих он попусту растративший себя и обществу лишний человек. «Не выдался, — говорит о нем дворник Маркел. — Сколько на тебя денег извели! Учился, учился, а труды прахом пошли». Он же, не кривя душой и не теряя ясности восприятия, видит страшную цену того духовного извращения, которую платят его порабощенные совре-

менники. Именно в этом смысле надо понимать фразу: «Дорогие друзья, о как безнадежно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших любимых имен и авторитетов. Единственно живое и яркое в вас — это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали».

Эта точная констатация разницы между творчески свободным художником и человеком, который идеализирует свою неволю, вызвала в свое время обиду многих и в значительной мере обусловила тридцатилетний запрет, наложенный на печатание романа на родине. Но в то же самое время целое поколение будущих диссидентов читало «Доктора Живаго» в запрещенных списках и иностранных изданиях, воспитывалось на нем и находило в нем жизненную опору.

В «Докторе Живаго» сильнее всего живописное (пластическое) и музыкальное (композиционное) начало. Даже в философских темах, которые Пастернаку хочется высказать с достаточной конкретностью, он не доходит до однозначности публицистического или проповеднического детерминизма. Его цель в том, чтобы дать читателю самому увидеть и продумать картины преобразенной действительности. Так он дополняет вероятностную трактовку хода истории, данную у Льва Толстого, наблюдениями над природой, утверждая, что существование человечества еще не утратило своих живых возможностей, что оно, к нашей радости, осталось таким же непредсказуемым и неожиданным, как жизнь леса.

Пастернак пишет, что «история то, что называется ходом истории», Юрию Андреевичу история виделась подобием «растительного царства»:

«Зимой под снегом оголенные прутья лиственного леса тощи и жалки, как волосы на старческой бородавке. Весной в несколько дней лес преобразается, подымается до облаков, в его покрытых листьями дебрях можно затеряться, спрятаться. Это превращение достигается движением, по стремительности превосходящим движения животных, потому что животное не растет так быстро, как растение, и которого никогда нельзя подсмотреть. Лес не передвигается, мы не можем его накрыть, подстеречь за переменою места. Мы всегда застаем его в неподвижности. И в такой же неподвижности застаем мы вечно растущую, вечно меняющуюся, неуследимую в своих превращениях жизнь общества, историю».

Толстой не довел своей мысли до конца, когда отрицал роль зачинателей за Наполеоном, правителями, полковод-

цами. Он думал именно то же самое, но не договорил этого со всею ясностью. Истории никто не делает, ее не видно, как нельзя увидеть, как трава растет».

Русская революция представлялась Пастернаку главным событием века, экспериментальной проверкой социальных утопий прошлого. Его интересовали ее нравственные основы — ответ жизни на накладываемые ограничения, восстание как реакция на погранные красоту и достоинство человека. Вначале она виделась ему возмездием за извращение способности любить, восхищаясь Божиим замыслом, плодотворно и самостоятельно в нем участвовать.

При этом Пастернак с самого начала решительно осуждал политическое фарисейство, насилие и ненависть, пришедшие на смену общественным надеждам.

В лирическом сюжетном плане эти представления проявляются в отношениях Юрия Живаго, Ларисы Антиповой и Павла Антипова-Стрельникова. Юрий Андреевич подчиняется любви как высшему началу, для него это стремление сделать человека счастливым, ничего ему не навязывая, расплачиваясь ценою собственных потерь и лишений, неизбежных и обусловленных жизнью. Понимание своих возможностей перед ее лицом кладет предел его активности. Его кажущееся безволие — следствие трезвой оценки художника, свидетеля, исследователя и, наконец, врача, который должен правильно поставить диагноз и, если возможно, вылечить, то есть помочь жизни справиться с болезнью. Его творческая воля — талант, как «детская модель вселенной, заложенная с малых лет» в сердце, делает его неспособным к насильственным проявлениям, которые независимо от цели ведут к извращению и гибели. Подчиненностью воле жизненных обстоятельств объясняются бесчисленные лишения, выпавшие на его долю, потеря дома, семьи, Лары. Хотя Комаровский виноват не только в искалеченной судьбе Ларисы, но и в его собственном разорении и сиротстве, Живаго сразу теряет способность отстаивать любимую женщину, лишь только она по своей воле встает на сторону чуждой подчиняющей силы.

«Личная заинтересованность побуждает его быть гордым и стремиться к правде. Эта выгодная и счастливейшая позиция в жизни может быть и трагедией, это второстепенно», — писал Пастернак, характеризуя свойства таланта.

Единственный волевой поступок Юрия Андреевича, его рискованный побег из партизанского лагеря, побег к Ларе,

освобождение из плена, оказывается возможен благодаря благоприятному стечению обстоятельств. Жизнь и природа покровительствуют им и строят их любовь. «Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака, деревья... Никогда, никогда, даже в минуты самого дарственного, беспмятного счастья не покидало их самое высокое и захватывающее наслаждение общей лепкой мира, чувство отнесенности их самих ко всей картине, ощущение принадлежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной»...

О большой прозе Пастернак мечтал в течение всей жизни, но попытки, предпринимаемые им ранее, затягиваясь на годы, оставались неоконченными. Отрывки, публиковавшиеся в газетах и журналах 1930-х годов, передавали картины и бытовые зарисовки дореволюционных лет России. Но автора мучило и останавливало в работе отсутствие «единства в понимании вещей». Такое понимание пришло в конце войны, когда возникло отчетливое ощущение присутствия Божия в историческом существовании России. Оно пришло, когда не сломленный годами террора народ нашел в себе силы противостоять злу фашистской чумы и ценой огромных потерь, несравнимых даже с немецкими, одержать победу в Отечественной войне.

Ты значил все в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о Тебе
Ни слуху не было, ни духу.

И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я Твой завет
И как от обморока ожил.

Мне к людям хочется, в толпу,
В их утреннее оживленье.
Я все готов разнесть в шепу
И всех поставить на колени...

Во времена самого тяжелого гнета Пастернак был уверен, что изменения к лучшему непременно начнутся с духовного пробуждения общества.

«Если Богу угодно будет и я не ошибаюсь, — писал он летом 1944 года, — в России скоро будет яркая жизнь, захватывающе новый век и еще раньше, до наступления этого благополучия в частной жизни и обиходе, — поразительно огромное, как при Толстом и Гоголе, искусство. Предчувст-

вие этого заслоняет мне все остальное: неблагополучие и убожество моего личного быта и моей семьи, лицо нынешней действительности, домов и улиц, разочаровывающую противоположность общего тона печати и политики и пр. и пр. Предчувствием этим я связан с этим будущим, не замечаю за ним невзгод и старости и с некоторого времени служу ему каждой своей мыслью, каждым делом и движением».

Пробудившиеся после победы в войне надежды на либерализацию общества укрепили Пастернака в его замысле и дали силу приступить к работе, которую он считал своим пожизненным долгом. Несмотря на то, что этим веяниям скоро был положен конец, намерение писать роман стало внутренней необходимостью.

«Доктор Живаго» был начат в декабре 1945 года, последние изменения в его текст были внесены в декабре 1955-го.

Сознание неотвратимости крестного пути как залога бессмертия выражено в стихотворении «Гамлет», открывающем тетрадь Юрия Живаго:

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Первоначальный план романа был с самого начала уже совершенно оформлен, и Пастернак рассчитывал быстро его написать.

«Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса или Достоевского, — эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое...

Атмосфера вещи — мое христианство, в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным», — писал Пастернак в октябре 1946 года.

«Смерти не будет» — первое название романа в карандашной рукописи 1946 года. Здесь же эпиграф из Откровения Иоанна Богослова: «И отрет Бог всякую слезу с очей

их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопль, ни болезни уже не будет, ибо прежнее пошло». Трактовка этих слов дается в романе в сцене у постели умирающей Анны Ивановны Громеко. Бессмертие души для Живаго — следствие деятельной любви к ближнему: «Человек в других людях и есть душа человека».

Рисуя время своей молодости и молодости тех «мальчиков и девочек», которые составили славу русского религиозно-философского возрождения, Пастернак определял его духовную атмосферу как смесь идей Достоевского, Соловьева, Толстого, социализма и новейшей поэзии, что, вполне уживаясь вместе, составляло «новую, необычайно свежую фазу христианства».

Надежды этого поколения были сметены исторической бурей, на смену которой пришло новое язычество «оспою нарытых Калигул» (портрет Сталина), не подозревавших, «как бездарен всякий поработитель». Простота и правда явления Христа противопоставлены помпезности сталинского стиля вампир.

Автор рисует, как в мир «мраморной и золотой безвкусицы» (это не о Древнем Риме, а о нашей современности!) входит «легкий и одетый в сияние» Христос, «намеренно провинциальный, галилейский», и мир начинается заново: «Народы и боги прекратились, и начался человек, человек-плотник, человек-пахарь, человек — пастух в стаде овец на заходе солнца, человек, ни капельки не звучащий гордо, человек, благодарно разнесенный по всем колыбельным песням матерей и по всем картинным галереям мира».

Стихотворения Юрия Живаго составляют заключительную главу романа. Создавая их от имени своего героя, Пастернак обрел новую свободу и глубину лирического самовыражения. Они освобождены от биографической узости и свойственной ранней поэзии Пастернака нагнетенной метафоричности, тем самым становясь отражением обобщенного опыта поколения. Пастернак писал, что Юрий Живаго «должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским». Это позволило значительно расширить круг тем, что в первую очередь относится к стихотворениям евангельского цикла, написанным с точки зрения прямого свидетеля событий Священной истории.

Роман «Доктор Живаго» лишен каких-либо дидактических тенденций, что помогло ему найти благодарный отклик в душах людей, на что надеялся его автор, когда писал: «От-

личие современной советской литературы от всей предшествующей кажется мне более всего в том, что она утверждена на прочных основаниях, независимо от того, читают ее или не читают. Это — гордое, покоящееся в себе и самодовлеющее явление, разделяющее с прочими государственными установлениями их незаблемость и непогрешимость.

Но настоящему искусству, в моем понимании, далеко до таких притязаний. Где ему повелевать и предписывать, когда слабостей и грехов на нем больше, чем добродетелей. Оно робко желает быть мечтою читателя, предметом читательской жажды и нуждается в его отзывчивом воображении не как в дружелюбной снисходительности, а как в составном элементе, без которого не может обойтись построение художника, как нуждается луч в отражающей поверхности или в преломляющей среде, чтобы играть и загораться».

Надежды автора оправдались. Картинами полувекового обихода называл Пастернак свой роман о докторе Живаго. По прошествии второй половины века и на рубеже нового он продолжает волновать читателей и находить живой отклик в их душах.

ЕВГЕНИЙ ПАСТЕРНАК



Первая книга



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПЯТИЧАСОВОЙ СКОРЫЙ

1

Шли и шли и пели «Вечную память», и, когда останавливались, казалось, что ее по-залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра.

Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. Любопытные входили в процессию, спрашивали:

«Кого хоронят?» Им отвечали: «Живаго». — «Вот оно что. Тогда понятно». — «Да не его. Ее». — «Все равно. Царствие небесное. Похороны богатые».

Замелькали последние минуты, считанные, бесповоротные. «Господня земля и исполнение ея, вселенная и вси живущие на ней». Священник крестящим движением бросил горсть земли на Марию Николаевну. Запели «Со духи праведных». Началась страшная гонка. Гроб закрыли, заколотили, стали опускать. От барабанил дождь комьев, которыми торопливо в четыре лопаты забросали могилу. На ней вырос холмик. На него взошел десятилетний мальчик.

Только в состоянии оцепенения и бесчувственности, обыкновенно наступающих к концу больших похорон, могло показаться, что мальчик хочет сказать слово на материнской могиле.

Он поднял голову и окинул с возвышения осенние пустыри и главы монастыря отсутствующим взором. Его курносое лицо исказилось. Шея его вытянулась. Если бы таким движением поднял голову волчонок, было бы ясно, что он сейчас завоет. Закрыв лицо руками, мальчик зарыдал. Летевшее навстречу облако стало хлестать его по рукам и лицу мокрыми плетьюми холодного ливня. К могиле прошел человек в черном, со сборками на узких облегающих рукавах. Это был брат

покойной и дядя плакавшего мальчика, расстриженный по собственному прошению священник Николай Николаевич Веденяпин. Он подошел к мальчику и увел его с кладбища.

2

Они ночевали в одном из монастырских покоев, который отвели дяде по старому знакомству. Был канун Покрова. На другой день они с дядей должны были уехать далеко на юг, в один из губернских городов Поволжья, где отец Николай служил в издательстве, выпускавшем прогрессивную газету края. Билеты на поезд были куплены, вещи увязаны и стояли в келье. С вокзала по соседству ветер приносил плаксивые перебивания маневрировавших вдали паровозов.

К вечеру сильно похолодало. Два окна на уровне земли выходили на уголок невзрачного огорода, обсаженного кустами желтой акации, на мерзлые лужи проезжей дороги и на тот конец кладбища, где днем похоронили Марию Николаевну. Огород пустовал, кроме нескольких муаровых гряд посиневшей от холода капусты. Когда налетал ветер, кусты облетелой акации металась как бесноватые, и ложились на дорогу.

Ночью Юра разбудил стук в окно. Темная келья была сверхъестественно озарена белым порхающим светом. Юра в одной рубашке подбежал к окну и прижался лицом к холодному стеклу.

За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе бушевала вьюга, воздух дымился снегом. Можно было подумать, будто буря заметила Юру и, сознавая, как она страшна, наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистела и завывала и всеми способами старалась привлечь Юрино внимание. С неба оборот за оборотом бесконечными мотками падала на землю белая ткань, обвивая ее погребальными пеленами. Вьюга была одна на свете, ничто с ней не соперничало.

Первым движением Юры, когда он слез с подокон-

ника, было желание одеться и бежать на улицу, чтобы что-то предпринять. То его пугало, что монастырскую капусту занесет и ее не откапают, то, что в поле заметет маму и она бессильна будет оказать сопротивление тому, что уйдет еще глубже и дальше от него в землю.

Дело опять кончилось слезами. Проснулся дядя, говорил ему о Христе и утешал его, а потом зевал, подходил к окну и задумывался. Они начали одеваться. Стало светать.

3

Пока жива была мать, Юра не знал, что отец давно бросил их, ездит по разным городам Сибири и заграницы, кутит и распутничает и что он давно просадил и развеял по ветру их миллионное состояние. Юре всегда говорили, что он то в Петербурге, то на какой-нибудь ярмарке, чаще всего на Ирбитской.

А потом у матери, всегда болевшей, открылась чахотка. Она стала ездить лечиться на юг Франции и в Северную Италию, куда Юра ее два раза сопровождал. Так, в беспорядке и среди постоянных загадок, прошла детская жизнь Юры, часто на руках у чужих, которые все время менялись. Он привык к этим переменам, и в обстановке вечной нескладицы отсутствие отца не удивляло его.

Маленьким мальчиком он застал еще то время, когда именем, которое он носил, называлось множество саморазличнейших вещей. Была мануфактура Живаго, банк Живаго, дом Живаго, способ завязывания и закалывания галстука булавкою Живаго, даже какой-то сладкий пирог круглой формы, вроде ромовой бабы, под названием Живаго, и одно время в Москве можно было крикнуть извозчику «к Живаго!», совершенно как «к черту на кулички!», и он уносил вас на санках в тридесятое царство, в тридевятое государство. Тихий парк обступал вас. На свисающие ветви елей, осыпая с них иней, садились вороны. Разносились их карканье, раскатиное, как треск древесного сука. С новостроек за

просекой через дорогу перебежали породистые собаки. Там зажигали огни. Спускался вечер.

Вдруг все это разлетелось. Они обеднели.

4

Летом тысяча девятьсот третьего года на тарантасе парой Юра с дядей ехали по полям в Дуплянку, имение шелкопрядильного фабриканта и большого покровителя искусств Кологривова, к педагогу и популяризатору полезных знаний Ивану Ивановичу Воскобойникову.

Была Казанская, разгар жатвы. По причине обеденного времени или по случаю праздника в полях не попадалось ни души. Солнце палило недожатые полосы, как полуобритые арестантские затылки. Над полями кружились птицы. Склонив колосья, пшеница тянулась в струнку среди совершенного безветрия или высилась в крестцах далеко от дороги, где при долгом вглядывании принимала вид движущихся фигур, словно это ходили по краю горизонта землемеры и что-то записывали.

— А эти, — спрашивал Николай Николаевич Павла, чернорабочего и сторожа из книгоиздательства, сидевшего на козлах боком, сутуло и перекинув ногу за ногу, в знак того, что он не заправский кучер и правит не по призванию, — а это как же, помещиковы или крестьянские?

— Энти господсти, — отвечал Павел и закуривал, — а вот эфти, — отвозившись с огнем и затянувшись, тыкал он после долгой паузы концом кнутовища в другую сторону, — эфти свои. Ай заснули? — то и дело прикрикивал он на лошадей, на хвосты и крупы которых он все время косился, как машинист на манометры.

Но лошади везли, как все лошади на свете, то есть коренник бежал с прирожденной прямокой бесхитростной натуры, а пристяжная казалась непонимающему отъявленной бездельницей, которая только и

знала, что, выгнувшись лебедью, отплясывала впри-
сядку под бречание бубенчиков, которое сама своими
скачками подымала.

Николай Николаевич вез Воскобойникову коррек-
туру его книжки по земельному вопросу, которую
ввиду усилившегося цензурного нажима издательство
просило пересмотреть.

— Шалит народ в уезде, — говорил Николай Нико-
лаевич. — В Паньковской волости купца зарезали, у
земского сожгли конный завод. Ты как об этом дума-
ешь? Что у вас говорят в деревне?

Но оказывалось, что Павел смотрит на вещи еще
мрачнее, чем даже цензор, умерявший аграрные стра-
сти Воскобойникова.

— Да что говорят? Распустили народ. Баловство,
говорят. С нашим братом нешто возможно? Мужику
дай волю, так ведь у нас друг дружку передают, истин-
ный Господь. Ай заснули?

Это была вторая поездка дяди и племянника в Дуп-
лянку. Юра думал, что он запомнил дорогу, и всякий
раз, как поля разбегались вширь и их тоненькой каем-
кой охватывали спереди и сзади леса, Юре казалось,
что он узнает то место, с которого дорога должна по-
вернуть вправо, а с поворота показаться и через минуту
скрыться десятиверстная колодривовская панорама с
блещущей вдали рекой и пробегающей за ней желез-
ной дорогой. Но он все обманывался. Поля сменялись
полями. Их вновь и вновь охватывали леса. Смена этих
просторов настраивала на широкий лад. Хотелось меч-
тать и думать о будущем.

Ни одна из книг, прославивших впоследствии Ни-
колая Николаевича, не была еще написана. Но мысли
его уже определились. Он не знал, как близко его
время.

Скоро среди представителей тогдашней литерату-
ры, профессоров университета и философов револю-
ции должен был появиться этот человек, который
думал на все их темы и у которого, кроме термиоло-
гии, не было с ними ничего общего. Все они скопом
держались какой-нибудь догмы и довольствовались

словами и видимостями, а отец Николай был священник, прошедший толстовство и революцию и шедший все время дальше. Он жаждал мысли, окрыленно вещественной, которая прочерчивала бы нелицемерно различимый путь в своем движении и что-то меняла на свете к лучшему и которая даже ребенку и невежде была бы заметна, как вспышка молнии или след прокатившегося грома. Он жаждал нового.

Юре хорошо было с дядей. Он был похож на маму. Подобно ей, он был человеком свободным, лишенным предубеждения против чего бы то ни было непривычного. Как у нее, у него было дворянское чувство равенства со всем живущим. Он так же, как она, понимал все с первого взгляда и умел выражать мысли в той форме, в какой они приходят в голову в первую минуту, пока они живы и не обесмыслятся.

Юра был рад, что дядя взял его в Дуплянку. Там было очень красиво, и живописность места тоже напонила маму, которая любила природу и часто брала Юру с собой на прогулки. Кроме того, Юре было приятно, что он опять встретится с Никой Дудоровым, гимназистом, жившим у Воскобойникова, который, наверное, презирал его, потому что был года на два старше его, и который, здороваясь, с силой дергал руку книзу и так низко наклонял голову, что волосы падали ему на лоб, закрывая лицо до половины.

5

— Жизненным нервом проблемы пауперизма, — читал Николай Николаевич по исправленной рукописи.

— Я думаю, лучше сказать — существом, — говорил Иван Иванович и вносил в корректуру требующееся исправление.

Они занимались в полутьме стеклянной террасы. Глаз различал валявшиеся в беспорядке лейки и садовые инструменты. На спинку поломанного стула был наброшен дождевой плащ. В углу стояли болотные са-